

## ИЗ КНИГИ "СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ"

Коктебель и М. А. Волошин неразделимы. Он первый поселился в этих неприветливых местах в самом им построенном доме, к порогу которого подкатывались волны прибоя. С него, собственно, и начинается литературная история Коктебеля, бывшего до тех пор глухой деревушкой болгар, переселившихся сюда с родины во время русско-турецкой войны 1876-1877 годов. ...

В тонких акварелях, похожих на строгие и точные стихи, и в стихах, следующих всем принципам изобразительного искусства, Волошин отразил и преобразил первобытный киммерийский пейзаж, вдохнув в него столько собственной души и литературных традиций, что этот неведомый уголок Крыма стал неотъемлемой частью русской поэтической культуры его эпохи.

Около сорока лет ведя жизнь отшельника и поэта, М. А. Волошин в простых сандалиях, с непокрытой головой, с пастушеским посохом в руке исходил все полынные тропы пепельно-серых холмов, глухие ущелья крымских предгорий, безлюдную полосу морского берега от Феодосии до Судака.

Он первый начал изучать уходящую в глубокое прошлое историю этого края. Вместе с Феодосийским археологическим музеем организовал раскопки найденных им развалин древнегреческого города Каллиеры<sup>884</sup> и остатков армянского монастыря византийской эпохи. По его предварительным расчетам летчики с высоты орлиного полета разыскали в море древний мол генуэзского порта, а геологи в одной из ближайших гор обнаружили залежи превосходной породы, из которой в Новороссийске долгое время вырабатывали цемент для подводных портовых сооружений. При его непосредственном участии получили начало первые в Советском Союзе планерные состязания на плоской горе Климентьева. Волошин служил проводником научной экспедиции знаменитого геолога Ф. Ю. Левинсона-Лессинга, изучавшего ущелья и обрывы горной системы Карадаг. Его акварели, выставленные во всех художественных музеях Юга, приложены как неоценимые образцы геологического пейзажа к ученым трудам советских геологов.

Историк, археолог, ботаник, геолог, художник, поэт, Максимилиан Волошин одухотворил свой Коктебель страстной, до старости не угасающей любовью. Отлогие шиферные холмы степного предгорья казались ему подобием срединной Испании, где бродил он в свои студенческие, парижские годы; выжженные солнцем мысы и заливы - точным повторением пейзажей Греции и Малоазийского побережья. Те же очертания, тот же воздух, те же запахи трав и прогретой земли, те же оттенки моря и краски закатов.

Здесь в долгие зимние вечера, когда над степными увалами гуляет сбивающий с ног северный ветер, а на безлюдный берег в нескольких десятках шагов от дома с грохотом рушатся тяжелые мутно-зеленые волны, в тихой комнатке, содрогающейся, как на маяке, от порывов яростного черноморского норд-оста, проводил он одинокие часы за чтением исторических сочинений, писал стихи, достойные быть продолжением "Легенды веков" Виктора Гюго, и с помощью небольшой астрономической трубы следил за ходом планет и созвездий. Когда кончалась зима, по зацветающим степным взгорьям и косогорам, покрытым алым ковром сухих и легких маков, уходил он с чабаньей палкой в руке в далекие пешеходные странствия по просторам любимого им Восточного Крыма. ...

Я познакомился с М. А. Волошиным ранней весной 1926 года<sup>885</sup>, когда он приезжал,

---

<sup>884</sup> 572 Каллиера - гавань венецианцев близ нынешнего Коктебеля, отмеченная на средневековых картах. Систематические археологические раскопки в окрестностях Коктебеля проводились уже после Великой Отечественной войны.

<sup>885</sup> 573 Знакомство Вс. Рождественского с Волошиным состоялось в 1927 году. Именно в этом году в Москве и Ленинграде были организованы выставки акварелей Волошина. С 1927 года Рождественский ежегодно приезжал в Коктебель к Волошину.

после Москвы, в Ленинград со своей выставкой акварелей, посвященных природе Восточного Крыма. До сих пор я не знал его как художника, хотя имя Максимилиана Волошина, поэта, мне было, конечно, хорошо известно. Я привык с интересом относиться к нему как к выдающемуся мастеру стиха, хотя стих этот и казался несколько отягощенным пышной, чисто эстетической декоративностью.

Уже в те времена бросалась в глаза особенность его творческого дара, резко отделявшая Волошина от поэтов модернистов. Несмотря на обилие отвлеченно-философских понятий и пристрастие к мистическим обобщениям, поэт явно стремился к смысловой точности и зрительной очерченности образов, обнаруживая любовь ко всему празднично-яркому, многокрасочному, декоративно-торжественному. Почти все волошинские стихи были посвящены темам искусства. И только намечалось тяготение к темам русской истории, нашедшим впоследствии широкое место в его послевоенных книгах и в особенности в стихах, написанных за последние годы. Примечательны были также и стихотворные пейзажи Коктебеля, которые в сочетании с выставленными в Доме искусств акварелями давали незабываемо яркий образ этого мало кому известного тогда уголка Крымского побережья. Мастер акварели и поэт органически были слиты в Волошине и резко определяли его творческое своеобразие.

По своим прежним чисто читательским представлениям я ожидал увидеть изысканного парижанина, типичного француза, чуть ли не в цилиндре и с моноклом в левом глазу. Велико же было мое удивление, когда передо мной оказался невысокий, богатырского сложения человек с чисто русским лицом, с широкой дьяконской шевелюрой и густой, окладистой бородой - почти персонаж из пьесы Островского. Все в его облике дышало давней, чуть ли не допетровской Русью. И только изысканно построенная, несколько грассирующая речь, изящно-сдержанный жест да строгое профессорское пенсне выдавали в Волошине европейца, завсегдатая поэтических собраний и людных вернисажей. И еще больше поразил меня Максимилиан Александрович позднее, в родном ему Коктебеле. Здесь, среди степных пыльных холмов и диких скал побережья, он, облаченный в домотканую оранжевую хламиду, с обнаженной головой, с разлетающимися по ветру седоватыми кудрями под древнегреческой повязкой, с пастушеским посохом в руке, казался похожим на ясноглазого, примиренного с жизнью старца, бродячего рапсода гомеровских времен.

В Ленинграде Волошин пробыл около месяца, и за это время мы не раз встречались с ним на различных вечерах и выступлениях. Несколько бесед на поэтические темы, обмен стихами, совместные прогулки по городу положили начало более тесному знакомству. Я получил настоящее приглашение Максимилиана Александровича приехать к нему в Коктебель, который начал сильно интересоваться мной как еще неведомая мне страна. Хотелось попасть туда весной, но, отвлеченный разными делами, я мог осуществить свое намерение только в августе того же года.

Крым я знал хорошо, но бывать мне приходилось только на Южном берегу, по курортным маршрутам. Я отдал обычную дань восторга прославленным бухтам и кипарисам и потому был несколько разочарован, когда, свернув после Джанкоя, поезд неторопливо потащился через унылые степные просторы, даже не отмеченные на горизонте синей грядой гор. И море перед Феодосией подошло как-то сразу длинной, во весь кругозор мутно зеленеющей полосой, почти как продолжение все той же безнадежной равнины. Только далеко уходящий мыс с белыми домиками города, рассыпанного на его голой горбатой спине, дышал чем-то южным и непривычным. Необычайное для традиционного Крыма сочетание цветов изжелта-серого и густо-синего - вот первое, что бросилось в глаза. Феодосия в то время почти не была тронута курортной жизнью. Здесь в порту кипела будничная суэта. Огромные иностранные пароходы, пришедшие за зерном, стояли на рейде. По жарким улицам, покрытым жидкой тенью пропыленных акаций, проходили шумными группами английские, итальянские, греческие моряки. В кабачках завывали молдавские скрипки. Рыбаки сушили на песчаных отмелях свои сети. На базарной площади толпились длинные мажары окрестных татар и крепко слаженные двуколки немцев-колонистов.

Дощатые стойки ломились под тяжестью корзин с глянцеви́тым отузским виноградом, бронзовыми грушами и продолговатыми упругими яблоками кизилташских садов. Город, почти лишенный зелени, каменный, гулкий, насквозь прогретый солнцем, лениво карабкался своими одноэтажными мазанками под черепичной крышей все вверх и вверх по крутым склонам холмов. Четырехгранные генуэзские башни, сохранившие изящество строгих и несколько суровых очертаний, восходили вслед за ними величественно и неторопливо. Море показывалось за каждым поворотом горбатых ступенчатых улиц, все шире и шире развертывая свой ослепительный смеющийся аквамарин. А под ногою звенели древние плиты с полустертыми обрывками латинских надписей, и, казалось, стоит только ковырнуть в известковой стене оврага какой-нибудь камень, чтобы к ногам упал черепок античной посуды или генуэзская монета. Почва Феодосии, одного из древнейших городов Южной Европы, насыщена останками древнейших культур. Даже самый воздух здесь отстоян, как древнее вино, пронизан запахом исторических воспоминаний. Сложная индустрия современного порта непосредственно соседствует с археологическими богатствами еще не раскопанного до конца Карантинного холма.

Поезд пришел к вечеру, когда привокзальная пыльная площадь была перерезана длинными фиолетовыми тенями. Побродив по окраинным улицам, закусив в греческом кабачке жареной скумбрией и прохладным терпким виноградом, я уже в сумерках отправился на базарную площадь, где без особого труда нашел попутчиков в Коктебель. Ехать нужно было на скрипучей линейке около двадцати километров, почти все время степью, уже прохладной и душистой. Неугомонное стрекотание цикад сопровождало нас всю дорогу. Перед самым Коктебелем пошли невысокие, очень пологие холмы, и наконец с высоты одного из них сверкнуло залитое восходящей красноватой луной, замкнутое в полукружие залива море. Прямо, на близком горизонте, встали зубчатые горы, а дорога, змеясь, побежала к окаймленному белой тесьмой приборя пустынному побережью.

Дом М. А. Волошина можно было узнать сразу. Он стоял одиноко, у самой морской черты, и бросался в глаза причудливостью своих архитектурных очертаний. Приземистая четырехугольная "вышка" венчала его обычную для крымских жилищ черепичную крышу. Легкие деревянные галерейки и внешние лестницы опоясывали это строение со всех сторон. От моря отделялось оно тощим, сквозным садиком, с трудом выращенным на этой негостеприимной и скудной почве. Тяжелые волны подкатывали, казалось, к самому порогу этого странного жилища. Оно и стояло несколько в стороне от немногих домиков пустынного берега, гранича только с полынней степью. Я соскочил с линейки и направил шаги на оживленный гул голосов и слабое мерцание свечей на ближайшей веранде. Мелкие сухие камешки скрипели под моими подошвами. Прямое дыхание полыни наполняло воздух.

Залаяла собака, за ней другая, и навстречу из-за стола, на котором, видимо, только что был подан ужин, выскочило такое множество народу, что я в первую минуту совершенно растерялся. Приветствия, возгласы, радостные восклицания. Понемногу я стал различать и знакомые лица. Вдруг все расступилось. Навстречу мне шел сам хозяин. Его плотная низкая фигура была облачена в какое-то подобие очень короткого балахона, волосы серебристо пушились, относимые ветром.

- Ну вот, наконец! - произнес Максимилиан Александрович очень мягким, приветливым голосом, раскрывая широкие объятия. - Телеграмму получили еще вчера. Но я так и подумал, что вам захочется побродить по Феодосии, подышать воздухом моего города (он так и сказал - "моего города" - неоспоримым тоном хозяина всех этих мест). Видели вы башню Климента Шестого? Если бы не эти ужасные ларьки и киоски, которые облепили ее со всех сторон, она была бы прекрасна. У нее строгое и величественное лицо...

- Макс, Макс! Да подожди ты со своей историей, - выручила меня одетая почти так же, как Волошин, маленькая подвижная женщина с седоватыми, коротко подстриженными волосами, расчесанными на мужской пробор. - Дай ты ему отдохнуть с дороги. Поужинать, наконец! Сюда, сюда! Лезьте через эту скамейку. Вот ваше место. Слева от вас московский астроном, справа художница. Она же чемпион по плаванию. Знакомить не буду. Делайте это

сами. Здесь все друзья.

И действительно, не прошло и десяти минут, как я уже чувствовал себя как дома. Разговор за столом не умолкал ни на минуту, острая, непринужденная шутка то там, то здесь поднимала взрывы самого беззаботного молодого смеха. Понемногу в лунных сумерках я начал различать знакомые - пусть только издали - лица. Группа ленинградских художников: Петров-Водкин, Остроумова-Лебедева, скульптор Матвеев. Московские филологи, поэт Г. Шенгели, какие-то старцы с профессорскими бородами и самый пышный цветник молодежи всех возрастов и темпераментов, скрипачи, балерины, художники и просто энтузиасты литературы. Ужин продолжался долго и шумно. Было истреблено неисчислимое количество черного винограда, рассыпанного на подстилке из свежих листьев, выпито две огромные бутылки легкого, со сладковатой кислинкой, деревенского вина. Я, оказывается, попал на праздник, день рождения и совершеннолетия одной из "отроковиц" - дочери известного ученого. Голова у меня гудела от усталости, от обилия впечатлений этого первого крымского дня, но я не отрываясь следил за нитью общей беседы.

После ужина на утоптанной площадке садика затеяли танцы. А луна поднималась над заливом все выше и выше. Море глухо шумело в двух шагах за жидкой оградой каких-то тонкостволых неведомых мне деревьев и колючего кустарника. Устав кружиться, мы уселись на полукруглой деревянной скамеечке лицом к морю и звездам. Макс (так все здесь звали хозяина) был посажен в середину, и начались обычные для кокетбельского дома "страшные и нестрашные рассказы", шарады, загадки и, наконец, стихи, стихи без конца...

Разошлись уже поздно. Так как дом был переполнен, спать меня положили в мастерской, на узком и длинном диване под огромным гипсовым муляжом египетской царевны Таиах. Я долго не мог заснуть, прислушиваясь к монотонному грохоту моря. Наконец усталость взяла свое.

Но мне так и не суждено было провести эту ночь спокойно. Под впечатлением ли необычайных рассказов в духе Эдгара По или от обилия новых лиц и шумных бесед мне все время снился один и тот же бесконечный сон, в котором присутствовало море, неведомый город, улицы, полные народа в странных одеждах, и какая-то чуждая, гортанная речь. С рейда подходила полукругом парусная вражеская эскадра, вспыхивали белые облака дыма на бортах кораблей, тяжелый, ленивый грохот канонады катился по прибрежным волнам.

Канонада росла, ширилась. Почти громовой удар прокатился над самой моей головой. Я проснулся и рывком сел на своем ложе. Кто-то тряс меня за плечи: "Скорее! Скорее! Дом не выдержит. Скорее на воздух!"

И только тут я заметил, что пол словно уходит куда-то в сторону, что, вздрагивая и чуть пружиня, выгибаются стены. "Землетрясение!"<sup>886</sup> - пронеслось у меня в голове. Но это слово уже слышалось отовсюду. Хлопали двери, скрипели деревянные ступени лестниц. Весь дом был в движении, суматохе. Люди выскакивали на дворик, едва закутанные в простыни и одеяла.

Когда я выбежал на свежий воздух, глазам моим предстало необычайное зрелище. Все население волошинского жилища в самых фантастических одеяниях, наскоро наброшенных на плечи, шумно и бестолково роилось среди колючих кустов небольшого дворика. Все взгляды были обращены на только что покинутый дом. А его чуть-чуть пошатывало, стены прогибались, то тут, то там давая легкие трещины. С крыши, от полуразвалившейся трубы, сыпались обломки кирпича, сползала черепица. Движение шло толчками, с самыми неправильными интервалами. Земля была беспокойной, и порою казалось, что ее, как огромную скатерть, кто-то тихонько поддевает из-под ног. Неприятное, томительное чувство полной беспомощности. Едва ощутимые колебания почвы продолжались все время, с легкими перерывами, и никто не знал, какой сокрушающий завершительный удар может последовать за этой легкой судорогой земли. Больше всего тревожило море. Что, если

---

<sup>886</sup> 574 Землетрясение в Коктебеле началось в ночь на 12 сентября 1927 года.



огромный вал обрушится на берег, заливая все вокруг? Но залив был совершенно спокоен и привычно отражал высоко поднявшуюся луну.

Только к рассвету прекратились угрожающие толчки. Напряжение первых минут испуга и недоумения сменилось усталостью и равнодушием. Женщины и дети, захватив из дому одеяла, подушки, предпочли все же остаться на ночлег под открытым небом. К ним присоединилось и старшее поколение. Молодежь решила вернуться в дом.

Поднявшись по наружной лестнице обратно в мастерскую, я увидел книги, выбитые ночным толчком из тугих рядов на полках, сдвинутую мебель и заклиненные ставни. На диване рядом с подушкой лежала привезенная когда-то хозяином со склонов Везувия вулканическая "бомба", упавшая с полки рядом с моей головой. Мелкие осколки стекла хрустели под ногами. Но огромное гипсовое лицо царевны Таиах сияло резким, чуть приподнятым разрезом глаз все так же таинственно и спокойно...

Несколько дней землетрясение было главной темой разговора на вечерних сборищах. Но прошла неделя, другая, и жизнь вернулась к привычным берегам.

... В тесной каморке под чердачными балками уже не так жарко. Солнце ушло в сторону, но его ровный матовый отсвет рассеян повсюду. Я подвигаю рабочий столик к окну, и теперь у меня перед глазами вся коктебельская долина, вздымающаяся к западу зелеными пятнами виноградников, среди которых то там, то тут краснеют черепичные крыши поселка. Горы видны необычайно отчетливо, каждой своей трещинкой, каждым изломом. Прямо - зубчатая Сюрю-Кая, напоминающая скалистые пейзажи Мантенья или Леонардо да Винчи. Чуть левее - лесистый конус Святой горы. А еще левее - обрывающаяся в море черная оголенная Кок-Кая, предгорье Карадага, вулкана, погасшего в незапамятные времена. Если вглядываться в резкий ее контур, можно различить необычайный феномен природы - четкий и поразительно похожий профиль Максимилиана Волошина.

Хорошо работается в этой каморке, высоко взнесенной над всем коктебельским домом, удаленной от всякого шума. Легкий бриз проходит по ней волнами набегающей свежести, пахнет полынью с ближайшего степного взгорья, стрижи с тонким писком перечеркивают синий квадрат окна. Вся комната наполнена ровными ритмическими вздохами моря. На подоконнике всегда либо золотая пахучая дыня, либо тарелка с черным виноградом. По издавна установившейся традиции эта комната предназначена поэтам, и не одно поэтическое поколение видело ее белые оголенные стены. Здесь в дореволюционные годы лихорадочно записывал свои океанские видения Бальмонт<sup>887</sup>, В. Я. Брюсов слагал сонеты на темы древней истории, Андрей Белый погружался в метафизические туманы глоссоластики, исследуя метрику русского классического стиха. Здесь отдавала дань романтике Черноморья и молодая плеяда советской поэзии.

Сюда редко кто заходит. Разве только послышатся иногда по узкой чердачной лестнице размеренные грузные шаги самого Максимилиана Александровича. Он войдет с очаровательной извиняющейся улыбкой, тяжело опустится на скрипучий табурет. Лениво пощипывая ягоды винограда, глядя в окно на голубые горы, терпеливо выслушает свеженарисованные стихи, поразит автора меткими неожиданными замечаниями и, поймав зерно какой-нибудь заинтересовавшей его мысли, начнет разворачивать увлекательную ткань монолога о поэтическом мастерстве, о великих тенях прошлого, легко и свободно извлекая из неисчерпаемых глубин своей памяти нужные цитаты на всех европейских языках.

Время течет незаметно, и уже снизу не раз доходит настойчивый голос Марии Степановны ("Маруси" - как здесь все ее называют), возвещающий час обеда, а мы все еще не можем кончить беседы... Иногда к вечеру, когда холмы уже отбрасывают глубокую синюю тень, а море приобретает невыразимый словом густо-фиалковый цвет, резко подчеркнутый шафранными красками побережья, я поднимаюсь по утлой наружной лесенке в мастерскую. Это огромной высоты комната, всегда полная прохлады, желтая в лучах

---

<sup>887</sup> 575 К. Бальмонт никогда не был в Коктебеле.

уходящего солнца. В архитектурном своем разрезе она напоминает абсиду романской часовни. Восточную нишу занимает в ней гладкий деревянный стол с разбросанными на нем папками акварельных пейзажей и узенькими рулонами ватмана. По стенам многоярусно высятся книги. Здесь история всех искусств, все художественные журналы двух первых десятилетий века.

... Ни единой фабричной штампованной вещи. Все сделано собственными руками: гладкие длинные скамейки, кушетка, покрытая домотканым болгарским ковром. В простенках несколько кисейных татарских вышивок слабо поблескивают потускневшими золотыми нитями.

То же и наверху, в рабочей комнате самого Макса. Простая доска на легких перекрещенных козлах служит ему письменным столом. Роль полочек для разных мелочей выполняют поставленные друг на друга фанерные ящички почтовых посылок... В высоком стакане вместо цветов пучок сухой пахучей полыни и мягкий, колеблющийся от малейшего дыхания веер белесого ковыля.

На стенах, затянутых той же темно-красной болгарской тканью, полотна художников "Мира искусства", листы парижских графиков, несколько авторских офортов О. Редона. ... На самодельных полочках целый музей средиземноморских воспоминаний: какие-то засушенные плоды, кипарисовые четки католических монастырей, испанское *ex voto*<sup>888</sup>, итальянские кастаньеты с выцветшими ленточками, деревянная скульптура верхнерейнского средневековья, муляжи египетских музеев, медные иконки Новгорода и Пскова, старофранцузские пергаменты с затейливой киноварной вязью и огромные, отливающие то желто-серебряным, то зеленовато-золотым перламутром раковины с тропических отмелей Тихого океана. ...

На доске рабочего стола набор акварельных красок и пришпиленная к фанерному листу еще свежая акварель - типичный коктебельский пейзаж с желтыми пустынными холмами, где глубоко врезаны лиловые тени, а на горизонте ослепительно-синяя или темно-зеленая черта - тяжелое вечернее море. В широко раскрытой двери на белый деревянный балкон дышит, сверкает, переливается всеми оттенками драгоценно вытканной парчи морская синь. Свежий ветерок, то и дело входя в комнату, шевелит страницами раскрытой книги и легкой, почти бесплотной сединой поставленного в стакан ковыля.

Сюда, в эту комнату, залитую косым вечерующим солнцем, сходятся для работы, для стихов, для свежих журналов все обитатели дома. Предвечернее время - законный час беседы, когда двери открыты для любого посетителя, в том числе для путников, впервые заглянувших в Дом поэта. Но у меня есть особая привилегия - подниматься сюда и в утренние часы, когда Макс работает над своими акварелями. Я сажусь в сторонке и перелистываю книги поэтов богатейшее собрание, достойное музея, или разглядываю - в который уже раз диковинное разнообразие полок и альбомов. Иногда мы перекидываемся редкими репликами, которые постепенно разгораются в легкую беседу. Не отрывая склоненной головы от рисунка, вкрадчиво и осторожно водя кисточкой, Волошин рассказывает что-нибудь из своих странствий по Греции, по Пиренейскому полуострову, вспоминает годы прошлого, людей, встречающихся ему на пути и чем-либо поразивших воображение. Постепенно, по кусочкам, изо дня в день, в течение ряда лет я узнаю всю его жизнь. ...

Прогулки с Максимилианом Александровичем по живописнейшим окрестностям Коктебеля доставляли незабываемое наслаждение. Как никто, знал он каждый уголок родной ему Киммерии и по поводу каждого пересохшего фонтана, каждого одинокого дерева, каждой развалины рассказывал замечательные легенды.

Я уже упоминал о том, что был он страстным геологом, умевшим вдохновенно читать

---

<sup>888</sup> 576 *Ex voto* (буквально "по обету", Лат.) - подвешенные у икон и на стенах католического храма верующими, во исполнение обета, изображения исцеленных членов тела.

по любой горной складке или оврагу увлекательную книгу земли. Сорвав какую-нибудь незаметную степную травку или пряный цветок, Волошин часами мог рассказывать о Линнее и Тимирязеве. Ковырнув посохом землю и вытащив какой-нибудь старинный черепок, он импровизационно развертывал археологические повести, которыми заслушивались и почтенные, скептически-осторожные ученые. Помню, с каким восторгом рассказывал он о том, как летчики по его просьбе произвели несколько аэросъемок в указанном им месте залива, и на отпечатанных снимках отчетливо можно было увидеть остатки древнегреческого мола, далеко уходящего в море. Это позволило в дальнейшем точно установить место потерянного города Каллиеры, о существовании которого в этих местах Максимилиан Александрович давно подозревал по сочинениям античных географов и апокрифическим картам. Произведенные феодосийским музеем раскопки действительно обнаружили под наносами османской и генуэзской эпох фундамент византийской трехабсидной церкви, а под нею тяжелые известковые плиты древнегреческих мостовых.

Коктебельский залив в XIII-XIV веках разграничивал владения Венеции и Генуи, и на его оранжевых холмах происходили жестокие битвы этих соперничающих торговых республик. Открытая с помощью Волошина "Отроковица эллинской земли в венецианских бусах - Каллиера"<sup>889</sup> была последним оплотом хищной Венеции на крымской земле.

Незаменимый собеседник и великий знаток Восточного Крыма, Волошин в те годы был неизменным руководителем прогулок, которые устраивала молодежь, съезжавшаяся в Коктебель. Ходили к Овечьему источнику, в Каньоны, в Мертвую бухту, на Перевал, откуда как на ладони видны грушевые и яблоневые сады Нижних Отуз и замыкающий горизонт голубой гребень мыса Меганом. Заросшими колючей ежевикой и диким кизилом тропинками совершали подъем на Святую гору, к могиле мусульманского отшельника и, конечно, пускались в долгие странствования по хребтам и ущельям Карадага, чтобы там, с высоты орлиного полета, глядеть в зияющий обрыв кратера и наблюдать, как у его подножия разбиваются огромные сердитые волны.

Волошину, страдавшему одышкой, трудно было принимать участие в далеких горных экскурсиях, но он неизменно провожал нас до первого ущелья, подробно рассказывая об известных ему наизусть пастушьих тропах и переходах. ...

Последние два года жизни Максимилиан Александрович провел в неустанном борении с надвигающейся на него болезнью. Опухали ноги, слабо работало сердце, часами мучила астма. Огромным усилием воли он преодолевал недомогания и старался казаться таким же общительным и приветливым, как всегда. Он положительно не мог жить без друзей, без юношеского беспечного смеха в комнатах, без свежей книги, без застольной беседы. Глаза его загорались, если читали ему удачные стихи или рассказывали о новой победе науки. С нежностью перелистывал он страницы, говорящие о вечных ценностях искусства.

Я помню, как в один из ясных, но уже холодных сентябрьских вечеров говорил он за чайным столом с только что приехавшим с Кавказского побережья Андреем Белым<sup>890</sup>, старинным другом Коктебеля. Трудно было представить более различных даже по внешнему облику людей. Волошин, грузно ушедший в кресло, величественно седой, иронически благодушный, слушал молча и только изредка кротким и беззащитным движением тянул к собеседнику пухлую протестующую руку. Андрей Белый, худобой своей напоминавший факира, необычайно юркий, подвижный и даже стремительный в своих резких, угловатых словах и изгибах, с белесым разлетающимся пушком седины вокруг прокаленного кирпичным загаром черепа, фанатично горя небесно-голубыми, вкось поставленными глазами, метался по комнате и непрерывно, как бурная кавказская река, сыпал искрами и брызгами блистательных афоризмов. Недавно вернувшийся из Европы и два месяца

---

<sup>889</sup> 577 Цитируются строки из стихотворения Волошина "Каллиера".

<sup>890</sup> 578 А. Белый приезжал в Коктебель (из Судака) в 1930 году на три дня (с 9 по 11 сентября).

дышавший воздухом батумских цитронных рощ, он вулканически переживал радость возвращения под небо родной культуры. Он зримо "отрясал прах гнилой западной цивилизации", захлебываясь восторгом, говорил о неповторимой чистоте снеговых линий Кавказского хребта и о своем новоприобретенном приятеле, неграмотном старике абхазце, который уже сто четыре года пасет овец на альпийских склонах и в житейской мудрости "превзошел самого Гёте".

Чтобы разрядить все более и более накалявшуюся атмосферу его нервного монолога, который мог закончиться очередной истерикой, Максимилиан Александрович двумя-тремя умело и вовремя вставленными репликами перевел разговор на последнюю работу Белого о пушкинских ритмах<sup>891</sup>. Но и он только отчасти достиг своей цели. Начав спокойно повествовать о своем исследовании, излагать основные его принципы, поражающие своей парадоксальностью, Белый, поймав недоверчивую улыбку Волошина, вновь взвился на недостижимые вершины красноречия. Теперь он уже бегал по комнате, рискуя опрокинуть стулья. Мария Степановна осторожно отодвинула от края стола его стакан с недопитым чаем. А он, не замечая ничего, кроме своей буйно несущейся мысли, сыпал доказательствами, цитатами и даже математическими формулами. Желая наглядно показать движение "лирической доминанты" в пушкинском стихотворении "Кавказ подо мною. Один в вышине...", Белый, широко взмахнув рукой, достал с верхнего угла шкафа воображаемую линию диаграммы, бешеным скачущим аллюром понес ее, высоко держа над головой, через всю комнату на наружный балкон и там, обвинив дважды вокруг балясины перил, резким, решительным движением бросил в море. Когда он, задыхаясь, вернулся к столу и бессильно опустился на стул, отирая мелкие капельки пота, Волошин чрезвычайно мягким, но не лишенным сарказма голосом заметил ему:

- Вот ты, Боря, тут доказывал, что весь Пушкин укладывается в математическую формулу и что ход его интонаций можно не только изобразить графически, но и предсказать по первой же строке. Почему же тогда ты, столь блестяще все это понявший, не напишешь сам "Я помню чудное мгновенье..." или "Для берегов отчизны дальней..."? Ведь это же, оказывается, так просто...

Белый поперхнулся глотком чая и перевел разговор на другую тему.

В последний раз я видел Максимилиана Александровича летом 1932 года. Он уже заметно одряхлел и почти не выходил из своей комнаты. Одышка часто прерывала его речь. Но он по-прежнему был окружен молодежью и почтенными учеными, отдавая весь свой вечерний отдых занимательной беседе. По-прежнему, преодолевая болезнь, поднимался он на свою рабочую вышку и склонялся над свежим листом начатой акварели, чтобы подготовить ее как подарок кому-либо из отъезжающих друзей. Этот обычай соблюдал он свято, не обходя даже "отроков" и "отроковиц". Но рука уже плохо слушалась художника, и было грустно смотреть на отчаянные попытки вернуть еще недавнее мастерство. Максимилиан Александрович уже не предавался своим обычным импровизациям, а если вел по-прежнему за собой общий разговор, то только отдельными направляющими репликами. Все реже вспыхивал в нем прежний Волошин, и редко теперь, уступая настоятельным дружеским просьбам, читал он свои стихи.

В этот раз мое пребывание у моря было кратким. Я торопился на осенние месяцы в Среднюю Азию, в Казахстан, где должен был принять участие в геологической экспедиции, и заехал в Коктебель, сделав значительный крюк, только для того, чтобы не изменить долготлетней привычке. Мы, по обычаю, много беседовали с Максимилианом Александровичем и даже пускались в недалекие прогулки. Но мне грустно было видеть его неуверенные движения, слушать порой уже затрудненную речь.

Помню, в день моего отъезда он чувствовал себя особенно плохо (астма мучила его всю ночь), но в минуту прощания, как ни отговаривал я его, собрал все свои силы и вышел меня

---

<sup>891</sup> 579 Имеется в виду исследование А. Белого "Ритм как диалектика и "Медный всадник" (М., 1929).



проводить за ограду дома к станции почтового автобуса. Там, на сухой полынной тропинке, он обнял меня молча, и я в то же мгновение с необычайной остротой печали почувствовал, что это наша последняя встреча. Полтора месяца спустя в маленьком предгорном городишке Казахстана Аулие-Ата, разбирая почту, привезенную верховым на нашу геологическую базу, я распечатал узкий синеватый бланк телеграммы. Сухо и кратко она извещала о смерти М. А. Волошина 11 августа 1932 года. ...

## **Иннокентий Басалаев ЗАПИСКИ ДЛЯ СЕБЯ**

1929 г. у М. Волошина в Коктебеле

Я читал эту книгу с большим удивлением. Она написана давно, но дожила до наших дней. Средневековый Париж и княжеская Суздаль, Европа и Скифия, Рим и Византия живут на ее страницах, сплетаясь в причудливые образы веков и народов. У нее один автор и герой: изысканный декадент, поэт Монмартрских кварталов, русский студент-бунтарь, строитель "гётеанума", верблюжий караван-баши в среднеазиатской пустыне, библиофил, живописец, эллин и француз и трижды русский.

Нет, подумал я. Этот дом, эту дачу, как старинную книгу, надо привязать железной цепью, поставить под стекло и показывать любопытным и странствующим.

Издали он похож на толстую мужиковатую бабу, хозяйски расхаживающую по своему двору. Ближе он кажется седым полным иереем, переодевшимся в желтую блузу и детские штанишки. Иногда он просто русский бородач-мужик. И однажды он был... паном. Не врубелевским - болотным, студенистым, волшебным. Нет. Обрусевшим паном эллинов.

Я видел его однажды в роли заклинателя. У киноактрисы Гали<sup>892</sup> болела голова. Задрапированная в розовую полукупальную комбинацию, Гали с хорошей театральной искренностью держала свою кинематографическую ладонь. Он в желтом и длинном камзоле-блузе, в открытых сандалиях, блестя пенсне, водил по ее ладони своими короткими полными пальцами, казалось, знающими все тайны исцеления, и молча заговаривал.

На знойном дворике было пусто. В воздухе стояла горячая тишина. Случайно проходящие мимо гости не могли сдержать улыбок. Равнодушно смотрело небо, привыкшее ко всему.

Море в Коктебеле. Необычное. Ни ресторанных декораций ялтинской набережной, ни *carte-postal'*ных скал Гурзуфа, ни алушкинского львиного уюта. Там по берегу - бутафорские нимфы князя Юсупова, беломраморные графские лестницы, здесь камни, скалы и рыбацьи лодки. Вместо простодушного татарского занавеса Алушты, расшитого трафаретными кипарисами, - лысые головы гор да изредка низкорослый кустарник с двумя-тремя сухими графическими деревьями. В Ялте тесное море. Такое тесное, что даже есть ванны с пресной и морской водой. В Ореанде и Дюльбере море как нарядная женщина. Море в Коктебеле простое и древнее, как Гомер.

В сумерки вышли на берег - Максимилиан Волошин, Всеволод Рождественский, Аскания-Нова<sup>893</sup>, я, Ася<sup>894</sup>, еще кто-то. Прошли мостик. Под ногами песок. Скатавшиеся, выброшенные на берег морские травы. Галька. Волошин рассказывает один из греческих мифов. Его очень занимает выдумка о пребывании на коктебельских берегах Одиссея,

---

<sup>892</sup> 580 Гали - так звали в "Доме поэта" Галину Николаевну Кошелеву (по мужу Розанову, 1900-?), но она была служащей Госплана; киноактрисой была отдыхавшая в Коктебеле Галина Сергеевна Киреевская (1897-?).

<sup>893</sup> Прозвище орнитолога Елизаветы Владимировны Козловой (1893-1976), жены одного из руководителей заповедника Аскания-Нова.

<sup>894</sup> Раиса Гинцбург.